



Житие мучениц блаженной Евдокии и её послушниц Дарин, Дарии и Марии, в селе Пузо пострадавших

Родилась Евдокия Шейкова 11/24 февраля 1856 года в селе Пузо* от родителей-крестьян Александра и Александры. Родители ее были очень

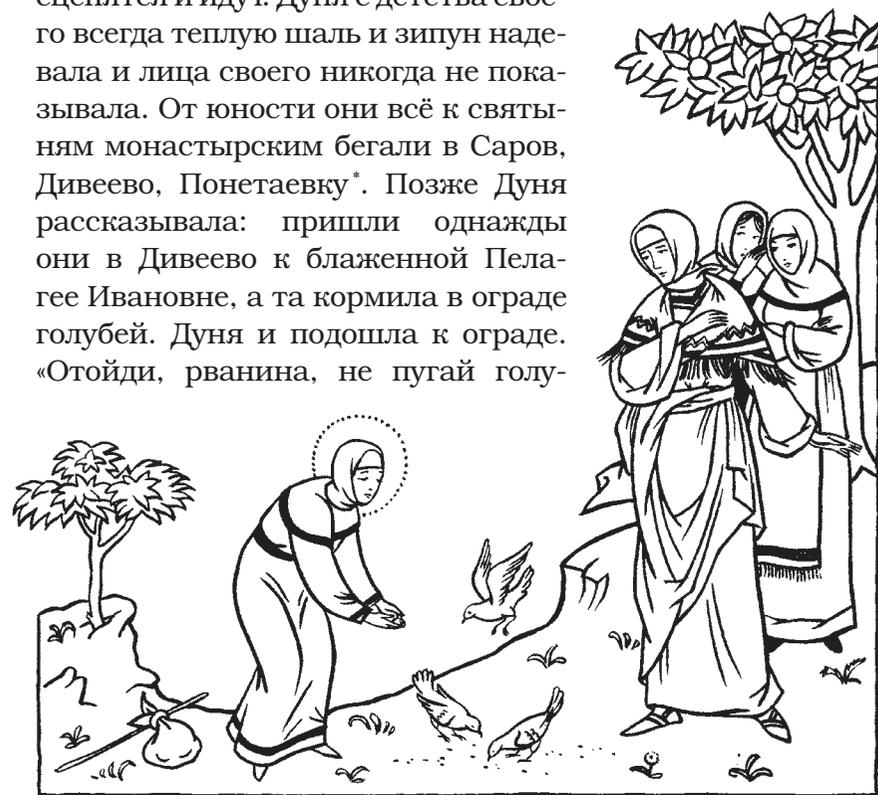
благочестивы, но мать умерла рано, когда маленькой Дуне было всего два года, и отец женился на другой. Мачеха же оказалась совсем другого духа. Она старалась уморить отца мышьяком. Сама Дуня рассказывала, как она, будучи еще семи лет от роду, поняла, что мачеха хочет отравить отца, и предупредила его: «Не пей эту воду. Смотри: она мутная». Но мачеха все же добилась своего позже, когда сманила отца уехать в Сибирь.

В том же селе жили тетя и дядя Дунины, у них она училась благочестию и у них жила свои отроческие годы. Дядя был церковным старостой. Ему с же-

* Село Пузо находится в 16 км от Дивеева. В советское время переименовано в более благозвучное Суворово (по названию колхоза им. Суворова). Слово же “пуз(о)” — древнеславянское и означает меру веса примерно равную двум пудам, а также — вид посуды, изготовлявшейся в селе.

ной недостаточно было молитвы в храме, и они много молились дома. Дуня же очень ревновала по Богу и непрестанно пела.

В восьмилетнем возрасте она и ее подруга Маша пошли в Саров. Там старец стукнул их головками, и с тех пор прожили они неразлучно рядом друг с другом три года. Маша жнет, а Дуня на снопах сидит и поет. В церковь всегда вместе ходили, ручка с ручкой сцепятся и идут. Дуня с детства своего всегда теплую шаль и зипун надевала и лица своего никогда не показывала. От юности они всё к святыням монастырским бегали в Саров, Дивеево, Понетаевку*. Позже Дуня рассказывала: пришли однажды они в Дивеево к блаженной Пелагее Ивановне, а та кормила в ограде голубей. Дуня и подошла к ограде. «Отойди, рванина, не пугай голу-



* Серафимо-Понетаевский Скорбященский монастырь был учрежден в 1864 году. Большие паломничества начались в него с 1885 года с открытием чудотворной Серафимо-Понетаевской иконы Знамения Божией Матери, прославившейся чудесным сиянием и движением глаз Богородицы.

бей», — говорят ей хожалки (келейницы). А Дуня плачет и не отходит. Был у нее с собой кусочек хлеба, так она его тоже бросила голубям, а Пелагея Ивановна и сказала: «Что вы от меня ее гоните, ведите ее и накормите».

Одни говорили о Дуне с Марией, что у них любовь от врага, а другие — от Бога. Если Мария мучается, Дунюшка от нее не отцепляется. Всегда они ходили сцепкой. Марию били за это родители, и Дуню ее родные били. И отгоняли их друг от дружки, а они возмущаются за руки, ходят и поют. И в церковь все равно вместе идут. Много скорбей терпели за это.

Как Маша померла, Дуня стала ежедневно в церковь ходить. Еще при жизни Маши в них начали кидать камнями, а без нее и того больше. Вскоре Дуня только к заказным обедням по будням ходить стала, потому как в праздник ей вовсе проходу не давали. Было Евдокии в ту пору уж около двадцати лет. И была она слабая да больная. И до того слабая, что стала ходить с батожком. К этому времени тетя ее уже померла, но печку Дуня еще сама могла топить. Сядет, бывало, на стульчик — сил-то нет, но все же печку топит. Вскоре она вовсе ослабела, и стали к ней тогда ходить две девушки.

И вот когда Евдокии было за двадцать лет, она особо сильно заболела. Дело было зимой, на святках. Металась она и кричала: «Умру, у меня жар». Девушки ее вынесли во двор и вылили на нее два ведра холодной воды. Потом она им и говорит: «Несите меня в келью». Положили ее на лавке, и с тех пор она уже больше не вставала.

Постель ее была такая: рунье (тряпье) да два голика (веника), которые прислал отец Иоанн Ардаговский. На голиках постланы две суконки, которые на ногах носят, и больше ничего. На ней был надет зи-

пун, но не в рукава, а лишь накинут на плечи. Другим зипуном накрыта голова — при людях она закрывала им лицо. Когда тулуп истлевал, она клала его на постель и никому не отдавала. Ничем другим не позволяла себя одевать. И так зиму и лето.

Как истлевала одежда, она ее клала на постель. Так всего три одежды были у нее до самой смерти. Ситцевого она ничего не носила от юности. Рубашка у нее была тканая, когда истлеет, она ее на постель клала, так же и сарафан. Поясок носила всю жизнь одинаковый: шерстяной голубого цвета с белой серединкой. И если не дать ей такой пояс, она совсем не будет подпоясываться. Шаль тоже у нее была шерстяная. На ногах носила длинные шерстяные чулки. Все на ней было шерстяное, кроме ручного платка, только тот был ситцевый. Даже четки и те всегда были у нее шерстяные. Потом, уже в последние годы, она льняные нитки стала держать в руках во время молитвенного правила.

Хожалки унесут, бывало, истлевшее с постели, закинут куда-нибудь, она начинает плакать. Сутки и двое плачет: «Давай мне рубаху». И так — пока не вернут.

Волосы с детства не давала никому резать и ногтей на ногах и на руках никогда не обрезала. Нечаянно заденут ноготь у нее неловко, так она скажется больной, плачет, а срезать не дает. Когда же ноготь спадет, она его подберет и тоже положит себе на постель. С крестом нательным та же история. Ушко сломится, крест потеряется, она начнет плакать. Молиться без креста не хочет, да и нового не берет:

— Найдите мне тот крест.

Найдут его, привяжут, а на другое утро она его опять потеряет. И пока не найдут, молитвенного правила не начинает.

Одной из первых постоянных келейниц у Евдокии была пузинская Настя. Эту Настю Дуня взяла к себе за кротость. Была у нее большая любовь и ревность к Евдокии. И она дала обещание никогда Дуню не оскорблять и не раздражаться, хотя трудности жизни и ее собственные болезни подавали тому множество поводов. Настя и сама всегда была болезненной, а прожив несколько лет у Дуни, стала еще сильнее болеть. Насте Дуня говорила: «Отвыкай есть каравай, привыкай к кусочкам». Прожила она у Дуни целых пятнадцать лет, до самой своей смерти.

Когда еще Настя жива была, к Евдокии начала ходить Дарья и ходила к ней три года. После же Настинной смерти отец Анатолий* благословил Дарью и вовсе жить у Дуни. Но Дашины родители ее не отпустили, они были людьми неверующими. Дарья горько плакала и все просилась к Дуне. Тогда они ее силком просватали. Даша все же вырвалась и прибежала к Дуне, так родственники за волосы вытащили ее из Дуниной кельи и сильно избили. В этот раз ее сумели увести силой, да только она вскоре опять прибежала. Родители во второй раз ее просватали и волоком утащили домой. Но все равно так и не смогли удержать. Двадцать лет после этого она вообще не выходила из Дуниной кельи ни в церковь, ни к родным. Никогда не отходила от Дуни и молилась всегда одновременно с ней и так же, как она. Причащались же они с Евдокией на дому. Телесных искушений у нее не было, вот только сильно ее мучила сонливость. Никак она не могла сон побороть и все плакала да посылала к отцу Анатолию: «Погибаю, — говорит, — багюшка, все сплю». Отец Анатолий отвечал: «Ничего,

* Иеромонах Анатолий, в схиме Василий, старец высокой духовной жизни из Саровского монастыря. Скончался в 1919 году.

спи, это подвиг такой; иначе не сможешь болящей служить».

Дарья постница была большая и подвижница крепкая, а вот спать даже стоя могла. От Дуни она все терпела безропотно и была при ней неотступно. Та ее ругает, а Даша довольная. Когда родная сестра приходила проведать Дарью, то Дуня им не давала тихонько разговаривать, а заставляла говорить при ней все громко и открыто. Даже в женской немоци Дашу не отсылала от себя. Мылась Дарья всегда после этого на дворе и зимой, и летом. И после мытья Дуня не давала ей греться у печи. Но зато дух ее непрестанно горел ко Господу.

По благословению иеромонаха Анатолия Дарья осталась жить у Евдокии. И стало их в доме трое — был еще жив дядя Евдокии. Тогда начали заходить к ним другие благочестивые девушки и петь. Так у них образовалось правило. Пели они стихиры, кондаки и акафисты. Никогда и ничем Евдокия так не могла утешиться, как лишь продолжительным пением и чтением. Сама же она читала хорошо, но писать не умела. Читала больше жития святых. Книги эти брали в церкви, но были у нее и свои. У Дарии был хороший голос. Так же, как, впрочем, и у Евдокии, и у дяди. Но Даша была неученая. Псалтирь читала на память, а книгу держала для вида. Так же на память пела и стихиры.

И вот стала Евдокия плакать, что ей нужно хожалку ученую. Тогда отец Анатолий благословил к ней Аннушку. Анна Хозинская очень любила петь и читать, да и устав церковный хорошо знала. Было ей в то время двадцать три года. Пришла она к Дуне из веселой жизни. Заставит ее Дуня пол мыть, а она скажет: «Вели мне поплясать». Та и дозволит, все

от нее терпела. Аня читала романы украдкой, а Даша увидела и сказала Евдокии. Аннушка стала плакать: «Что же мне, Дуня, делать, мне скучно, я убегу». И вот как-то решила уж бежать, но был вечер, и она задержалась до утра. А ночью увидела сон: явился ей преподобный Серафим, кормящий медведя. Она подошла к нему и поклонилась в ноги. Он благословил ее, дал сухарик и говорит:

— Что ж это ты, бездельница! Вот я тебе дам дело — иди, нянчи моих детей.

Взял ее за руку и повел в келью. А там стоят две люльки и лежат в них две маленькие девочки.

— Нянчи их, — сказал преподобный, а сам ушел.

Она стала их нянчить, а они давай плакать. Аннушка захотела бежать, подошла к двери, а дверь, как стена: нельзя выйти. Тут Анна и проснулась. Рассказала свой сон Евдокии, та и говорит: «Эти девоч-

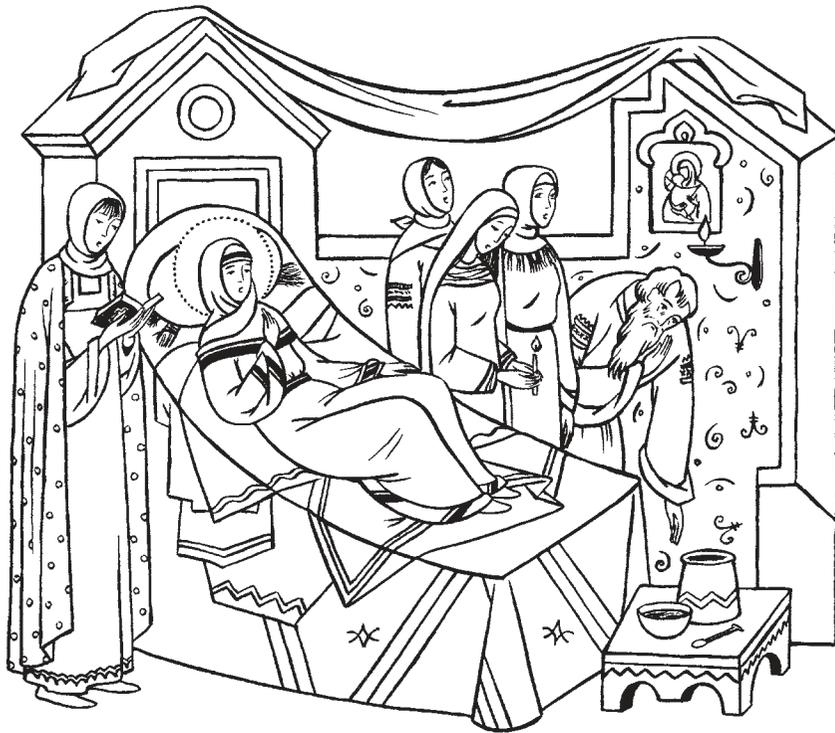


ки — я и Даша». И что крест ее — нянчиться с ними. И еще велела молиться Царице Небесной. Так Анна и осталась. Много было ей искушений, но и вразумления тоже были всегда.

Однажды Анна пошла по воду. Была зима, мороз — а ведра худые, вся вода из них выбегает. Она стала плакать и браниться скверными словами: «Подавиться тебе, жадная, не починишь мне ведра». И вот, в эту же ночь ей было видение. Увидела она прекрасный сад. Листья такие большие, каких нигде раньше не встречала. Цветы там белые, синие и красные, каких тоже нигде не видала. Еще в этом саду была чудная церковь с золотыми главами. Над всем светило яркое солнце, трава по пояс и благоухание неземное. Она очень захотела войти в этот сад, но глядит — в траве змеи, а ноги были у нее босые. А ей так хотелось войти. Думала она, как бы ей ноги обуть, да с тем и проснулась. Вспомнила свою давешнюю брань, да и поняла, что это за змеи были.

Как-то Анна вновь искусилась и утащила, как она думала, рыбу. Дома же оказалось, что это чайник, завернутый в бумагу. Вернулась, а Евдокия ей и говорит: «Анна, дай мне рыбки-то». Та бухнулась ей в ноги: «Дуня, прости!» А она отвечает: «Больше не воруй». Но однажды Анна потихоньку взяла да все деньги унесла. А Евдокия уже посылает: «Воротите Анну». Та снова просит прощения. Правда, случалось, что опять в грех впадала, сильно враг ее воровством искушал. Прожила она так у Дуни семь лет, и тут ее родные сманили. Она ночью выкрала у Евдокии все, что можно, и убежала, а про себя говорила: «Тебе за это будет спасение». На двух возах увезла. Мать ее очень обрадовалась: «Вот, доченька, будем с тобою сытно жить».

Но Аннушка давай тосковать тяжко. Прожила год и стала просить отца с матерью отпустить ее к Евдокии. А они: «Ни за что тебя не отпустим». Так она ночью убежала. Подходит к Дуниной келье — а дверь открыта: ждала ее Евдокия. Вошла Анна в келью, упала перед Дуниной постелью и стала плакать. На нее глядя, плакали Дуня и Даша. Дуня простила ее да и говорит: «Это тебя враг научил». А Анна ей в ответ: «Это ты мне его “посадила”!» Да с этих слов тут же в келье и упала. Дуня же заплакала только. Трое суток Анна металась и кричала: «Предайте смерти!» На четвертые Дуня дала ей сухарей и велела съесть, и Аннушка исцелилась. Вновь стала исправно петь и читать. Так подви-



залась она у Евдокии целых восемнадцать лет*.

Правило Евдокии было таково. Молиться начинали в восемь часов вечера, и продолжалась служба до двенадцати часов ночи. Это было общее пение, и в это время ничего не читалось. Неопустительно ежедневно пели стихиры образу Владимирской Божией Матери. Кроме стихир — тропари и кондаки святым и Царице Небесной. По вторникам же справляли стихиры с акафистом Иверской Божией Матери. В этот день к Евдокии обычно приходило петь особенно много народу.



Утреннее правило начиналось уже с пяти часов утра, а иной раз по слабости с шести. Евдокия все это время молилась в тишине, и никого к ней не пускали. Хожалки тоже внутренне, про себя, молились. В молитвы эти входили Псалтирь, Евангелие, каноны и акафисты. При этом клали земные поклоны. Утренние молитвы продолжались до двенадцати часов дня. Правило это Евдокия разделяла, и было минут двадцать отдыха. Если во время отдыха приходил кто с великой скорбью, то она разрешала впустить. Во время же молитвы никого не впускала.

* Анна Хозинская так же, как и оставившая эти воспоминания Поля, не была расстреляна и осталась жить в селе, свидетельствуя о подвигах Евдокии и неустанно молитвенно поминая Дуню и ее келейниц. Вела жизнь строгую, постническую, тайно заковала себя в вериги, стараясь исполнять все Дунины правила. К старости ослепла, болела и оттого страдала сильной полнотой вплоть до своей кончины в конце сороковых годов.

После правила Евдокию обращали лицом к иконам, подкладывали под нее рунье, сажали и зажигали все лампы. Всех лампад было двенадцать. Тут она опять тихо молилась где-то с полчаса, после чего можно было петь. Пели минут пятнадцать: «Верую», «Достойно есть», «Отче наш», «Заступницу», «Яко неборимую стену», Богородице «Умилению», «Крест всей Вселенной». При этом пении выносили из чулана просфоры. Перед тем, как ее посадить, велит вымыть ей руки. Как дадут ей просфору, то непременно заплачет и скажет: «Перекрести руки».

Девушкам давали по целой, а ее просфоры разрезали пополам. Одну половину опять уносили в чулан, а оставшуюся еще раз разрезали пополам. И одну четвертинку Евдокия давала той, которая при этом ей служила. Всего давали ей от трех просфор: из монастырей Сарова, Понетаевки и Дивеева, так что у нее получалось три части. Потом эти части подавали ей в руки, а в блюдечко наливали крещенской воды. Она клала просфоры в блюдечко и при этом говорила: «Христос Воскресе!» И тихо молилась.

Потом, как она помолится, пели «Спаси, Господи», «От юности», святителю Николаю и Царице Небесной. Но пели недолго. Потом она ела просфору и запивала крещенской водой и в блюдечке немного оставляла той, которая за ней ходила. Прочие же девушки становились у порога и после нее ели свои просфоры. Лампады гасили, Евдокию поворачивали и укладывали. Когда ее поворачивали, она все стены и углы ограждала крестным знаменем со словами: «Огради, Господи, Силюю Честнаго и Животворящего Креста».

Во время правила она вместе с четками держала всегда моток льняных ниток. Пройдя четки, делала на нитках петлю, потом опять молилась по четкам, потом еще делала петлю, и так — до четырех петель.

Петли эти связывала узлом вроде креста и затыкала за пояс. Это означало, что она молитву кончила и ее можно сажать*.

Если в то время как она молилась и когда разрезали просфору кто придет и стукнет чужой, дверь не открывали. Говорили, чтобы не сходил он с крыльца, стоял лицом к церкви и молился умом.

Утром, когда вставала, умывалась. Вода была одна и та же по неделе и больше. Той келейнице, которая при этом Дуне служила, она велела умываться первой. Затем полагалось помолиться и оградить все вокруг знаменем креста, после чего умывалась и Евдокия.

После окончания правила девушки уходили кто чай пить, кто по делам. Особое было дело, если кому выпадало воду носить. Для начала нужно было положить три поклона. Воду же надо было качать колесом и непременно натошак, что было довольно тяжело. Евдокия же провожала словами: «Тверди “Богородицу” и по дороге ни с кем не говори».

* Думается, что едва нашлись бы единицы среди современных людей, готовые проводить жизнь, как Дунины послушницы, тем более нести этот подвиг по двадцать лет, как, например, Дарья. Евдокия же не только сама спаслась, но вымолила венцы и для своих послушниц. Пожалуй, ни в одном монастыре в начале XX века нельзя было бы найти подобного каждодневного целонощного бдения. Подобные подвиги последний раз встречаются разве что во времена преподобного Иоанна Лествичника. Евдокия же поднимала своих девушек каждую ночь на молитву, когда сгорали две копеечные свечи. Под конец жизни она стала будить, как только сгорала одна свеча. Очевидно, что такая суровая подвижническая жизнь болящей старицы Евдокии и ее верных хожалок более соответствует идеалам святых отцов древности. Житие этих дивных новомучениц чудесным образом возвращает нас ко временам подвигов преподобных Антония Великого, Павла Препростого и многих иных великих столпов христианской веры. И тем драгоценней для нас это свидетельство уцелевшей келейницы Пелагеи (Поли) о таком удивительном островке истинной православной святости в океане злобы и безбожия, захлестнувших Россию к XX веку.

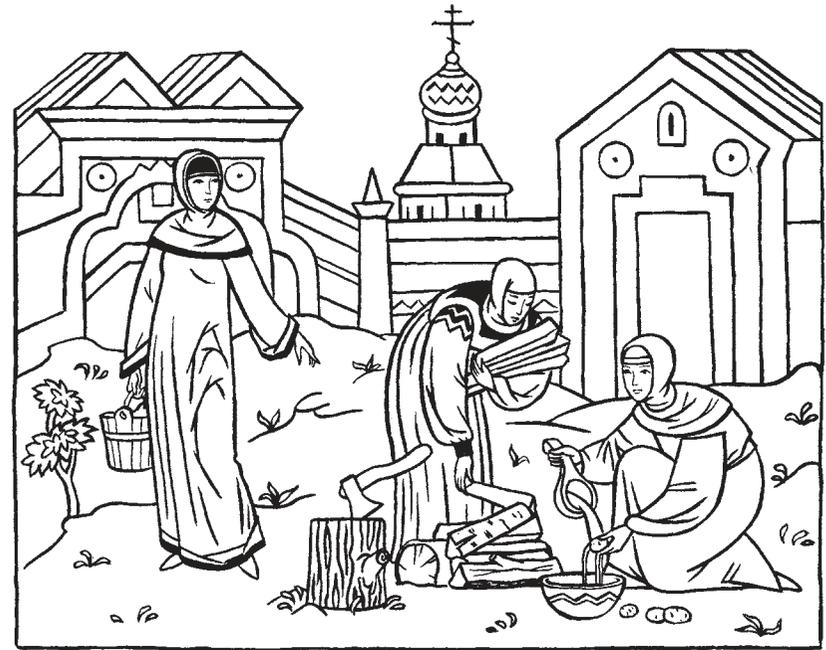


Раньше ходили, таясь, по ночам, а в последний год стали ходить и днем*. Когда выкачаешь воду, нужно было оградить всё крестным знаменем и ведро сполоснуть. Если же кто застанет, никого не стыдиться и молча идти с водой обратно. Если случится, покойника несут или о покойнике зазвонят, или с топором, или с косой кто встретится, или падаль какая-нибудь — воду менять надо. Хоть до Дуниного крыльца донесла и лишь

в двери не успела войти, все равно воду надо было вылить на землю и идти

снова. И что бы по дороге ни случилось, Евдокия велела ничего не скрывать и все рассказать без утайки. Принеся воды, надо было положить двенадцать поклонов Царице Небесной и спросить у Дуни благословения ставить самовар. Самовар тоже оградить крестным знаменем и сполоснуть, а то и чай пить не станет. Угли холодные положить в самовар и от свечи

* Блаженные о Христе и юродивые, как нелюбимый эталон, сразу же дают понять, каково нравственное и религиозное состояние окружающего мира. В селе, расположенном в столь святом месте, вблизи трех монастырей — Саровского, Дивеевского и Понетаевского, на земле, облагодатствованной молитвами преподобного Серафима Саровского, уж и там стало почитаться за подвиг перекреститься при людях, «ходили таясь, по ночам». Народ стал стыдиться звания христианина. Расплата последовала скорая и жестокая. Ибо каждый, отказавшийся от Бога, неизбежно окажется во власти торжествующего над ним зла.



зажечь. Как пар пойдет, можно самовар поднимать. Тому, кто подымает, положено молчать. Поставят самовар на стол, в трубу положат ладану, чайник чаем заправят и ставят на ладан. В это время Евдокии отрезают хлеба. Много нарежут, целую стопу, от всяких хлебов. Каждый кусок она оградит знаменем креста, да все эти куски, завязав в платок, положит себе на постель. Для еды же оставит лишь один кусок ржаного хлеба и съест от него самую малость.

За чаем сидела часа полтора, да чтобы кипел самовар и пар шел, а выпивала всего чашку с небольшим за все это время. Нальют одну чашку, скажет: «Холодна». Другую нальют, скажет: «Горяча». И так всегда. Хожалки уж начнут роптать, что народ ждет за дверями, больно долго не пускают. И лишь перед самым концом чаепития разрежет огурец и съест кружочка два или гриб соленый. Могла и пирога раз откусить, когда Бог посылал.

Картошку мыли во дворе и только холодной водой, какая бы погода ни была, хоть ледышки плавают. И обязательно в трех водах. Крупу руками мыть не велела — только ложечкой. Солить — также из ложечки. В скоромные дни кашу на молоке варили, а в постные дни на воде. Вкушала она каждый день, соблюдая все посты. Но если вдруг, по немощи, молитвенного правила когда не кончит, то потом три дня пролежит вовсе без пищи.

Дров наложат в печку, а двигать нельзя, потому что во всей печи не было ни одного целого кирпича, а одни осколки. Перекладывать печь не давала — для подвига. Печь, когда варили пищу, топили, открыв дверь. Трубу же задвижкой вообще никогда не закрывали. Говорит, что дух тяжелый ей. Так она сама себя в холоде держала. Маленькую печь тоже топить было нельзя, а большую не давала замазывать: «Не выношу дух глины».

Во время пения она глаза закрое, и, когда много было народу, то станут хожалки потихонечку замазывать. Евдокиюшка же начинает плакать, как малое дитя:

— Зачем во время пения озоруете?

— А зачем ты, Дуня, не даешь замазывать? — говорят ей после девушки.

А она не дает и народу при этом жалуется: «Они не замазывают мне печку».

Из хожалок греться к печке никого не подпускала, хоть умирай, не позволит. Скажет только: «А святые как терпели? Вы здоровые не можете терпеть, как же я больная терплю?»

Где-то за семь лет до смерти сажали ее к печке греться, но хожалки ее чуть не уронили, и с тех пор не стала она греться. За три года до смерти одни чул-

ки позволяла ей греть. В свободное время или во время пения греть не давала. Когда же хожалки ложились спать, она одну из них поднимала и заставляла греть. Та клала чулки на спину и прислонялась к печке. В это время Евдокия заставляла молитву читать. Прочитает девушка две-три молитвы, да и грохнется на пол — уснет. Евдокия же как закричит: «Она меня колотит!»

Всех на ноги поднимет и всем жалуется:

— Мои хожалки озоруют, не погрееют меня.

Так одну ночь чулки заставляла греть, в другую — вшей бить. Даст свечку и сиди бей. Когда вшей бьют, читают «Богородицу».

Только перестанут, Дуня кричит:

— Не всех убила, ногу вошь кусает.

Во время молитвы же никогда ни на что не жаловалась, только лишь во время сна. В последний же год печку уже почти не топили.

Те куски хлеба, которые Евдокия завязывала и клала на постель, после шести недель клала себе за спину. Так на них она и спала, на сухарях, в холоде и во вшах. Когда рубашка истлевала, хлеб впиивался в тело. Потом из хлеба вырастали целые вороха на постели. Там он зеленел, заводились под конец мыши и черви. В этом во всем она и лежала.

Она носила вериги, которые у нее были поясом*. Касаться этого места она не разрешала никому. Ру-

* О том, что у Дуня носила вериги, свидетельствовали многие очевидцы, но при обретении мощей вериги обнаружены не были. В связи с этим, видимо, необходимо подчеркнуть, что с Евдокией вообще связано необычайно много чудесных событий, в том числе и исчезновений. Так, например, подчистую чудесным образом исчезло привезенное на трех подводах в Ардатов имущество из дома Евдокии, которое награбили солдаты. Многое же из похищенного, будучи принесенным домой, неожиданно претерпевало превращения: мед — в пчел, гречка — в мелкие камешки...



баху Дуня не меняла, пока та не истлеет. Когда меняла, то всех, кроме двух девушек, высылала. С мылом руки мыла по локоть только раз в год. После чего обливала их в тазу со святой водой. Ноги мыла до колен: тоже обольет, но простой водой. Тело же никогда не мыла. Когда ее мыли, то одна из послушниц держала ее. Евдокия голову прислонит, а сама же при этом держит свечу зажженную.

Голову мыли теплым, разогретым в печке елеем. Мыли раз в год, и волосы были свалены, как шапка. Иногда без народа она снимала

шаль и чесала руками голову. Вшей нельзя было и счесть — просто тьма. Их не били, а прямо в тряпку собирали. Через два дня после мытья она меняла рубашку, но грязную и вшивую опять клала на постель.

Обедала Евдокия часа в два-три ночи. Обедала одна, чужих никого не пускала. Хожалки все стояли, да и сидеть-то не на чем было. Подавали ей в блюде, ложку хожалка поддерживала. Когда наливают, она кричит: «Мне больше наливай». А хлебнет раза два да и скажет: «Я устала, отдохну». Пока отдыхает, вроде как бы заснет, щи и остынут. Она просит горячих,

а их нет. Она и плачет. Щи остаются, и Поля доедает их потом совсем холодными.

Когда же второе накладывали, то Дуня опять кричит: «Дай мне каши да с пенками, клади больше». И тоже все остывало. «Остудила», — кричит, плачет, с тем и уснет.

Особой пищи она не употребляла. Редко ела картошку с разварки. Рыбу тоже ела редко. Яиц — лишь два в год. Мяса от юности не ела. А ведь приносили-то ей всего: и сдобных лепешек, и вкусного, и сладкого. Все, что приносили, она делила на две половины. Половину давала хожалкам — их было четыре. При этом говорила: «Вот, не гневайтесь, что я вам не даю».

Они воевали, что их здоровых — четыре и что им этого мало. Все полученное они тут же съедали. Другую половину Дуня в чулок клала. Скажет: «На завтра». Да так все и оставит. Тараканов же было множество. Хлеб отрежут, накроют, так они все изъедят.

Хлеб Дуня потребляла только от одних людей. Женщина там пекла с молитвой и приносила в чистом. Когда принесет, пели «От святых иконы Твоя». Первый кусок Евдокия всегда отрезала Поле, второй Даше и третий — всегда черствый и маленький кусочек — себе. Остатки, корки отдавала младшей хожалке. Назавтра уже сухари ели натошак. Она говорила: «Кто ест мягкий хлеб, тот не постник». Но если постишься, да дорвешься до мягкого хлеба, это плохо. Всякий кусок Дуня крестила и говорила: «Христос воскрес!»

Сахар у Евдокии был и все было, но хожалкам она с сахаром пить не давала. Сама иногда от тошноты ела лимон, орехи или огурцы и грибы. Но раз в ме-

сяц, не чаще. Разгрызть орехи сама не могла, грызла ей Даша.

Очень велела охраняться тайноядения. Поля однажды на яблоко соблазнулась и его припасла. Думает: «Воды принесу, самовар поставлю и поем». А Евдокия уже велит его обратно положить. Поля плакала, просила дать, а она так и не дала.

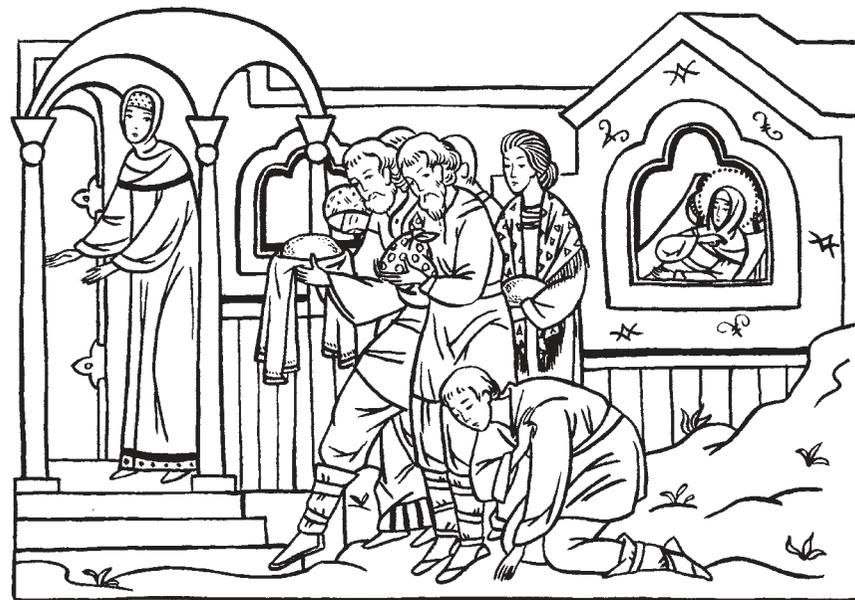
— Прибавь, — говорит, — поста и молитвы. Господь будет всего нам посылать в изобилии — и не съест тебе. Чем больше поста и молитвы, тем больше Господь будет всего посылать.

Когда ей Царицу Небесную (Иверскую) принесли, из разных губерний потек к ней народ. Девушки начали плакать: «Бог нам посылает столько милостыни, куда нам ее деть? Нам-то ты все равно не даешь». А Дуня в ответ: «Злитесь на вашу злость. Господь еще больше пошлет ради поста и молитвы. Если бы не на пользу душе, то разве Царица Небесная послала мне всего столько?»

В сенях было, как на складе: хлеб белый, рыба в коробках, мед, варенье — и все это раскрыто, и никто до этого не дотрагивался. А деньги по полу валялись, и по ним ходили.

Дяде Дуниному в старости видение было, как солдаты потащат все в разные стороны.

После еды, часа в три-четыре ночи, читали «Молитвы на сон грядущим» и Псалтирь, после чего тут же засыпали на полу. При этом Дуня велела младшей хожалке принести ей две копеечные свечи. Всех спящих ограждала знаменем креста, а свечу зажигала. Поля греет в это время чулки. Сама же Евдокия не спит, шарит у себя, ищет за поясом нитки или еще что-нибудь. Как вторая свеча догорит, всех поднимает. Полю же тогда кладет.



В последний год перед смертью Дуня всех уже будила, как только одна свеча сгорала, а раньше больше давала покоя.

Бывало, Поля заснет и дверь ногами невзначай откроет. Дуня и закричит: «Караул!» Все вскочат — а дверь открыта да зимой. Она начинает всем на Полю жаловаться, плакать и говорить: «Вот монашки что делают: зимой двери отворяют. Нарочно меня хотят заморозить». А у нее и без того холод был такой, что в чайнике и в лохани замерзала вода. Но все спали на полу измученные, не слыша ничего, пока горела свеча.

Келья была дырявая. Домик о двух окошках, третье — боковое, где Дуня и лежала. Предлагали ей ставить новый, но она не захотела. Двор решила сделать. Поля говорила: «Сперва надо сделать келью». А она говорит: «Нет, двор». Послала ее отмерить место на сажень от старого двора. Ломать старый не

велела, а только разбирать, чтобы стука от полома не было. Стали строить. Строить давала она не всем, а только тем, кто табак не курит. Также и об ограде на могиле дяди говорила: «Поля, дай ограду строить тем, кто не курит».

Довела стройку до холодов. Муж и жена, которые ей строили, были самые бедные, но строили Дуне бесплатно. И бревна возили бесплатно. Один хлеб с мякиной они ели в это время. Как-то она их позвала к себе. «Вы здесь, — говорит, — хотите получить награду или в будущем?» Они же ответили, что не хотят плату брать, помолились да взяли у Дуни благословение.

Врыли столбы и поставили стены. Она посылает Полю: «Пойди, посмотри, не косо ли поставили». Та сказала: «Немного косовато будет». Евдокия так заплакала, что невозможно было успокоить. Потом спрашивает: «Нельзя ли опять разломать и исправить?» Тут Даша пожалела этих людей и стала угоривать Дуню, а та и говорит ей: «А ты не вникай, это дело не твое, пусть Поля сама, как хочет, с ними». Тогда Поля ответила: «Никак, Дуня, нельзя, надо рядом вкапывать другой столб». Она и велела: «Ставьте другой столб». По сути, он был ни к чему, разве только чтобы не было косо.

Так строили они вдвоем шесть недель. Когда закончили, Евдокия призвала их в келью и говорит: «Вот вы мне здесь выстроили, а вам в будущем Господь выстроит». Дала им по кружке воды и по куску ржаного хлеба. И в том же году муж и жена оба умерли.

— Если бы кто еще нашелся и мне келью выстроил, — говорила, — но чтобы полому не было и стуку я не слыхала, а келью бы мне выстроили. Если я стук-то услышу, то не вынесу.

Так без кельи она и осталась.

Денег от юности в руки не брала. Письма кто присылал, она мало читала. Которым отвечала, а которым нет. Сроду ни с кем она не целовалась и руку никому свою не давала целовать. Своим хожалкам запрещала давать руку, когда здороваются. Также не велела им с мужчинами оставаться наедине.

Один раз в год всех в Саров отпускала — к батюшке Серафиму. Даша же двадцать лет в затворе пробыла, никуда не выходила. Время воскресной обедни особым было, Дуня даже печку топить запрещала. К Святым Тайнам вообще приступала очень строго. Причащалась она с Дашей на дому.

Белье не позволяла стирать ни в пятницу, ни в среду, а только во вторник и в четверг. После мытья полов только через двое суток она разрешала прикладываться к иконам. Также и после бани. Немытая ходи — до всего допустит, а после бани — нет.

Если обуются в лапти, или в валенки, или еще во что-нибудь, то весь месяц в этой обуви ходить надо. Хоть сыро, хоть жарко — разуться нельзя, а то не будет пить и есть, и плакать будет. Если тихонько разуются, то она все равно узнает, ругаться не будет, а будет сильно плакать. У них до того ноги отекут, что невозможно. Весь день на ногах, без отдыха и без сна. Ноги сырые, но греться не пустит, а иначе закричит дуром. Также весь месяц не давала сменять белье и платок, а при народе обличала: «Она монашка, а такая грязная».

Кто ей служил, тем не давала брать в руки ни ножа, ни топора, ни веника, а то ей была великая скорбь. Не давала ходить за собой при женской немощи, брала другую хожалку. Если все сразу, то она и не ела.

Как-то раз во время утреннего правила Дуня обмирала часа на три. Но лишь через четыре дня она не-